

«Все они — убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты».

«Этап», который шел на север по уральским деревням, был этапом из книжек — так все было похоже на читанное раньше — у Короленко, у Толстого, у Фигнер, у Морозова... Была весна двадцать девятого года.

Пьяные конвоиры с безумными глазами, раздающие подзатыльники и оплеухи, и поминутно — щелканье затворами винтовок. Сектант-федоровец, проклиная «драконов»; свежая солома на земляном полу сараев этапных изб; таинственные татуированные люди в инженерских фуражках, бесконечные поверки, переключки, счет, счет, счет...

Последняя ночь перед пешим этапом — ночь спасения. И, глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта:

«Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты».

Рты у всех были именно голубыми, а лица — черными. Рты у всех кривились — от боли, от многочисленных кровотокающих трещин на губах.

Однажды, когда идти почему-то было легче или перегон был короче, чем другие, — настолько, что все засветло расположились на ночевку, отдохнули, — в углу, где лежали воры, послышалось негромкое пение, скорее речитатив с самодельной мелодией:

«Ты меня не любишь, не жалеешь...».

Вор допел романс, собравши много слушателей, и важно сказал:

— Запрещенное.
— Это — Есенин, — сказал кто-то.
— Пусть будет Есенин, — сказал певец.

Уже в это время — всего более чем через три года после смерти поэта — популярность его в блатных кругах была очень велика.

Это был единственный поэт, «принятый» и «освященный» блатными, которые вовсе не жалуют стихов.

Позднее блатные сделали его «классиком» — отзываться о нем с уважением стало хорошим тоном среди воров.

С такими стихотворениями, как «Сыпь, гармоника», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», — знаком каждый грамотный блатарь. «Письмо матери» известно очень хорошо. «Персидские мотивы», поэмы, ранние стихи — вовсе неизвестны.

Чем же Есенин близок душе блатаря?

Прежде всего откровенная симпатия к блатному миру проходит через все стихи Есенина. Неоднократно высказанная прямо и ясно. Мы хорошо помним:

«Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор,
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор».

Блатари эти строки тоже хорошо помнят. Так же, как и более раннее (1915) «В том краю, где желтая крапива» и многие, многие другие стихотворения.

Но дело не только в прямых высказываниях. Дело не только в строках «Черного человека», где Есенин дает себе чисто блатарскую самооценку:

«Был человек тот — авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки».

Настроение, отношение, тон целого ряда стихотворений Есенина близки блатному миру.

Какие же родственные нотки слышат блатари в есенинской поэзии?

Прежде всего это нотки тоски, все, вызывающее жалость, все, что роднится с «тюремной сентиментальностью».

«И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове».

Стихи о собаке, о лисце, о коровах и лошадях понимаются блатарями, как слово человека, жестокого к человеку и нежного к животным.

Блатари могут приласкать собаку и тут же ее разорвать живую на куски — у них моральных барьеров нет, а любознательность их велика, особенно в вопросе «выживет или не выживет». Начав еще в детстве с наблюдений над оборванными крыльями пойманной бабочки и птичкой с выколотыми глазами, блатарь, повзрослев, выкалывает глаза человеку из того же чистого интереса, что и в детстве.

И за стихами Есенина о животных им чудится родственная им душа. Они не воспринимают этих стихов с трагической серьезностью. Им это кажется ловкой рифмованной декларацией.

Нотки вызова, протеста, обреченности — все эти элементы есенинской поэзии чутко воспринимаются блатарями. Им не нужны какие-нибудь «Кобыльи караблы» или «Пантократор». Блатари — реалисты. В стихах Есенина они многого не понимают и непонятное — отвергают. Наиболее же простые стихи цикла «Москва кабацкая» воспринимаются ими как ощущение, синхронное их душе, их подземному быту с проститутками, с мрачными подпольными кутежами.

Пьянство, кутежи, воспитание разврата — все это находит отклик в воровской душе.

Они проходят мимо есенинской пейзажной лирики, мимо стихов о России — все это ни капли не интересует блатарей.

В стихах же, которые им известны и по-своему дороги, они делают смелые купюры — так, в стихах «Сыпь, гармоника» отрезана блатарскими ножницами последняя строфа из-за слов:

«Дорогая, я плачу,
Прости. Прости».

Матерщина, вмонтированная Есениным в стихи, вызывает всегдешнее восхищение. Еще был! Ведь речь любого блатаря уснащена самой сложной, самой многоэтажной, самой совершенной матерной руганью — это лексикон, быт.

И вот перед ними поэт, который не забывает эту важную для них сторону дела.

Поэтизация хулиганства тоже способствует популярности Есенина среди воров, хотя, казалось бы, с этой стороны он в воровской среде не должен был иметь сочувствия. Ведь воры стремятся в глазах «фраеров» резко отделить себя от хулиганов, они и в самом деле — явление вовсе иное, чем хулиганы, — неизмеримо опаснее. Однако в глазах «простого человека» хулиган еще страшнее вора.

Есенинское хулиганство, прославленное стихами, воспринимается ворами как происшествие их «шалмана», их подземной гулянки, бесшабашного и мрачного кутежа.

«Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад».

Каждое стихотворение «Москвы кабацкой» имеет нотки, отзывающиеся в душе блатаря: что им до глубокой человечности, до светлой лирики существа есенинских стихов.

Им нужно достать оттуда иные, созвучные им строчки. А эти строчки есть, тон этот обиженного на мир, оскорбленного миром человека — есть у Есенина.

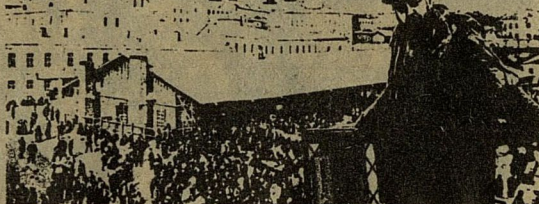
Есть и еще одна сторона есенинской поэзии, которая сближает его с понятиями, царящими в блатарском мире, с кодексом этого мира.

Дело идет об отношении к женщине. К женщине блатарь относится с презрением, считая ее низким существом. Женщина не заслуживает ничего лучшего, кроме издевательств, грубых шуток, побоев.

Блатарь вовсе не думает о детях; в его морали нет таких обязательств, нет понятий, связывающих его с «потомками».

Варлам ШАЛАМОВ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И ВОРОВСКОЙ МИР



Кем будет его дочь?
Проституткой? Воровкой?
Кем будет его сын —
блатарю решительно все
равно. Да разве по «закону»
не обязан вор уступить
свою подругу более
«авторитетному» товарищу?

«Но я детей по свету
растерял,
Свою жену
Легко отдал другому».

И здесь нравственные принципы поэта вполне соответствуют тем правилам и вкусам, которые освящены воровскими традициями, бытом.
«Пей, выдра, пей!».

Есенинские стихи о пьяных проститутках блатные знают наизусть и давно взяли их «на вооружение». Точно так же «Есть одна хорошая песня у соловушки» и «Ты меня не любишь, не жалеешь» с самодельной мелодией включены в золотой фонд уголовного «фольклора» так же, как:

«Не храни, запоздалая тройка,
Наша жизнь пронеслась без следа,
Может, завтра больничная койка
Успокоит меня навсегда».

«Больничная» койка воровскими певцами заменяется «тюремной».

Кульм матери, наряду с грубо циничным и презрительным отношением к женщине-жене, — характерная примета воровского быта.

И в этом отношении поэзия Есенина чрезвычайно тонко воспроизводит понятия блатного мира.

Мать для блатаря — предмет сентиментального умиления, это «святая святых». Это тоже входит в правила хорошего поведения вора, в его «духовные» традиции. Совмещаясь с хамством к женщине вообще, слащаво-сентиментальное отношение к матери выглядит фальшивым и лживым. Однако культ матери — официальная идеология блатарей.

Первое «Письмо к матери» («Ты жива еще, моя старушка») знает буквально каждый блатарь. Этот стих — блатная «Птичка божия».

Да и все другие есенинские стихотворения о матери, хоть и не могут сравниться в популярности своей с «Письмом», все же известны и одобрены.

Настроения поэзии Есенина в некоторой своей части с удивительно угаданной верностью совпадают с понятиями блатного мира. Именно этим и объясняется большая, особая популярность поэта среди воров.

Признание — это процесс. От безлойного заинтересованности при первом знакомстве до включения стихов Есенина в обязательную «библиотеку молодого блатаря» с одобрения всех главнейших подземного мира прошло два-три десятка лет. Это были те самые годы, когда Есенин не издавался или издавался мало («Москва кабацкая» и до сих пор не издается). Тем больше доверия и интереса вызывал поэт у блатарей.

Блатной мир не любит стихов. Поэзии нечего делать в этом мрачном мире. Есенин — исключение. Примечательно, что его биография, его самоубийство — вовсе не играли никакой роли в его успехе здесь.

Самоубийств профессиональные уголовники не знают, процент самоубийств среди них равен нулю. Трагическую смерть Есенина наиболее грамотные воры объясняли тем, что поэт все-таки не был полностью воров, был вроде «порчка», «порченного фраера» — от которого, дескать, можно всего ждать.

Но, конечно, — и это скажет каждый блатарь грамотный и неграмотный — в Есенине была «капля жульнической крови».

Публикация Ирины СИРОТИНСКОЙ.